

НА ВОСТОКЕ — ТУПИК

В политике, как и на войне, судят по практическому результату. Политика — это искусство использования возможного. Уметь провести разведку, как можно полнее предвидеть вероятные препятствия, найти направление главного удара, выработать стратегию и, главное, учесть совокупность всех имеющихся в наличии сил — только так теория согласуется с практикой. Пренебрегая прагматизмом, легко делаются утопистами. И, наоборот, проповедники утопий обречены на практические неудачи.

Есть в наши дни правительства, которые претендуют на признание того, что их политика не только реалистична, но и научно выверена. Таких правительств четырнадцать — они властвуют в странах, где утвердили свою политическую монополию коммунистические партии.

Однако, историческое развитие последних десятилетий показало, что претензии правящих коммунистических партий на исключительную реалистичность их программы действительностью не подтверждаются. В коммунистическом лагере растут и обостряются противоречия. Этого, правда, там не признают. Но тем более важно проанализировать эти противоречия. Такой анализ может приподнять завесу, за которой скрыто будущее.

* * *

Мертвая догма и зеленое древо жизни

Сталину предстояло умереть дважды: 5 марта 1953 г., в одинокой комнате на подмосковной даче, и еще раз, 25 февраля 1956 г. — публично, в присутствии делегатов XX съезда КПСС,

которых собрали, чтобы прочитать им "секретный" доклад Никиты Хрущева.

До этой второй смерти Салин был для миллионов коммунистов "гениальным знаменосцем" мирового пролетариата, самым великим после Ленина марксистским теоретиком. Как стратег, философ, государственный деятель и "корифей науки" Сталин налагал свою печать на все стороны жизни советского государства — на экономику, искусство и даже биологию... Казалось, более прямого сочетания науки с практикой невозможно и вообразить. Хрущев разрушил эту показательную картину, разоблачив слабость, непоследовательность и преступность вождя, которому сам долгие годы служил не за страх, а за совесть.

Правда, Хрущев решился осудить только самого Сталина и его "ошибки". О природе советского общества вопрос не поднимался; о его будущем — и того меньше. Хрущев утверждал, что основы социализма уже заложены; оставалось лишь последовательно, по этапам двигаться вперед, в коммунистическое завтра. Решающим фактором этого продвижения Хрущев продолжал считать экономический рост страны. В 1950-1956 гг. объем промышленного производства в СССР увеличивался на 12-15% ежегодно, а национальный доход, поскольку сельское хозяйство отставало, на 8-10%. Это позволяло рассчитывать, что экономический потенциал в каждое следующее десятилетие будет увеличиваться вдвое (тогда как Соединенные Штаты удваивали бы свой потенциал лишь каждые 20 лет). Хрущеву все представлялось столь же ясным, как и Сталину: Советский Союз должен "догнать и перегнать" Соединенные Штаты. Правда, в отличие от Сталина, Хрущев усомнился в эффективности абсолютной централизации и максимального подавления инициативы трудящихся. Он пытался рассредоточить управленческий аппарат, высвободить рабочую силу из лагерей и тюрем, ввести принцип материальной заинтересованности, стимулировать труд крестьян, добиться разрядки международной напряженности и создать условия для мирного сосуществования.

Но не в силах Хрущева было воспрепятствовать зарождению в поработанных Сталиным странах Восточной Европы и других надежд — на национальную независимость и демократизацию. Когда Сталин умер физически, поднялись рабочие Восточного Берлина. Когда после XX съезда он умер морально, вирус свободо-

ды проник в Польшу и Венгрию. Чем это кончилось, известно: в Польше — компромиссом, в Венгрии жестокой военной интервенцией. Разница была обусловлена, видимо, тем, что в первом случае монополярная власть коммунистов осталась неприкосновенной, а во втором начала быстро разлагаться сама компартия.

Все-таки в те времена и в самом Советском Союзе и в странах Восточной Европы появились тенденции к либерализации — то менее, то более последовательные. Самым радикальным из тогдашних требований была свобода печати. Но никто тогда не ставил под сомнение ни обобществление средств производства, ни планирование хозяйства, ни первостепенное значение экономического роста. Программы социальных преобразований так и не появилось. Только в Югославии, в которой диссидент начался в 1948 г. и которая была прощена Хрущевым в 1957 г., приблизились к такой программе, выдвинув идею производственного самоуправления. Но противоречие между принципами и повседневной практикой никогда не изгладилося и там. Коммунистический мир развивается так медленно, что невольно спрашиваешь, не топчется ли он на месте? Была надежда, что XX съезд надует опустившиеся паруса, но дождался только слабого бриза, который едва освежил воздух.

Новые веяния начали чувствоваться в 1965 г. Они стимулировались экономическими трудностями, которые проявились к тому времени не только в Советском Союзе, но и в большинстве государств Восточной Европы. Ежегодный прирост производства — показатель, которым прежде кичились эти страны, — резко сократился. В Чехословакии два года подряд падали даже темпы экономического развития. В особом положении оказалась Югославия: темпы роста сохраняли интенсивность, но ценой увеличения инфляции. Правительства вынуждены были что-то предпринимать. Наступила полоса реформ.

Их объем и характер были различны. Югославия начала переход от плановой экономики к рыночной. Советский Союз ограничился попытками предоставить больше свободы руководителям предприятий, пересмотреть систему ценообразования, укрепить материальную заинтересованность; одним из критериев народного хозяйства становится прибыль. Чехословакия попробовала синтезировать советские и югославские реформы: стали

вводить более гибкое планирование, признавали частичную автономию отдельных предприятий, банкам предоставили более активную роль, стали менять систему ценообразования. Это еще не было революцией, но выходило за рамки обычных усовершенствований системы управления экономикой. В Чехословакии речь шла о *структурных реформах*, но как только началось их осуществление, выявились серьезные противоречия и, главное, назрел вопрос: *укрепят ли они существующую систему или повлекут за собой ее ослабление?* Ответом были кризис 1968 г., "пражская весна" и, наконец, советская интервенция.

Но еще до этого внимание мира привлек кубинский эксперимент. Он вызвал симпатии не только своей стихийностью, но и революционной бескомпромиссностью. И еще была "культурная революция" в Китае, которую слишком поспешно, не считаясь с различиями китайских и западных условий, принялись сближать с протестами американских студентов и французским маем 1968 года.

Разочарование оказалось пропорционально утраченным иллюзиям. Попытки восстановить демократию — в "традиционной" или в "новой" версии, повсюду были раздавлены. Однопартийная диктатура победила. Значит ли это, что таковы неизбежные последствия обобществления средств производства? Так думают консерваторы всех стран. К ним присоединяются и некоторые социал-демократы. Левые социалисты, крайние левые и западные коммунистические партии это отрицают. Но как же тогда объяснить, почему во всех 14-ти государствах, где частная собственность на средства производства была ликвидирована полностью, происходит одно и то же? И чем обосновать утверждения, что в западных странах в случае успеха социалистической революции все будет иначе? Ответы достаточно определены, но наряд ли удовлетворительны.

Ссылаются, например, на особую ситуацию в России и Китае к началу революции. Оба государства серьезно отставали в промышленном развитии. Промышленность развивалась, но в сопоставлении с сельским хозяйством объем ее был незначителен. В обоих государствах отсутствовала буржуазно-демократическая традиция. Социальные преобразования вводились при неблагоприятной международной обстановке. Можно ли было при всем этом избежать введения диктатуры? Тут есть, вероят-

но, и доля правды. Но можно ли тем же способом объяснить ход развития Чехословакии или Восточной Германии — экономически высоко развитых стран? Можно ли также объяснить современное положение в Советском Союзе — в индустриальном отношении передовом государстве, которое, казалось бы, вовсе не должно страдать комплексом международной неполноценности?

Другие предлагают исходить из национальной специфики каждого "эксперимента" в отдельности. Конечно, нельзя судить об СССР, пренебрегая особенностями Святой Руси, или о маоизме, не учитывая китайской истории. Но разве не верно то же самое в применении ко всем странам и системам? Японский капитализм отличается от американского, а американский, в свою очередь, имеет свои особенности в сравнении с французским или немецким. Но достаточно ли этого, чтобы отказаться от поиска общих закономерностей развития капитализма?

Наконец, говорят об особо благоприятных условиях для осуществления социализма, которые сложились в индустриальных странах Западной Европы: наемные рабочие составляют там большинство активного населения; концентрация промышленности и капитала создала предпосылки для введения экономического регулирования; традиции свободы прочно укоренились в сознании граждан и т.д. Все это так, но нельзя отрицать, что капитализм прекрасно приспособился к этим новым условиям и соответственно модифицировался. Не стоит к тому же чересчур обольщаться тем, что граждане Западной Европы имеют иммунитет к разного сорта диктатурам: ведь фашизм перед второй мировой войной расцвел не где-нибудь, а именно в Западной Европе — в высоко цивилизованных Германии и Италии.

Европейские левые мечутся в поисках всевозможных оправданий своему нежеланию присмотреться к действительному прошлому, настоящему и будущему так называемых социалистических стран, и дать этому разумное объяснение. Они уклоняются от полемики с оппонентами, повторяя снова и снова:

"Мы живем во Франции (или в какой-нибудь другой из западноевропейских стран), а не в России. У СССР и Китая иные, не наши проблемы, а потому и говорить о них бессмысленно".

Даже западные коммунисты неустанно твердят, что никакого обязательного "образца" нет, что социализм на Западе должен быть совсем другим.

Такова эволюция — от безоглядного восхищения, от наивных восторгов политических пилигримов, от фальшиво розовых описаний увиденного — к дипломатической вежливости, затем — к робким упрекам и, наконец, в отдельных случаях — к открытой враждебности.

Но ведь этого недостаточно! Ведь только всерьез анализируя итоги конкретных "экспериментов" можно установить условия, при которых попытки социальных преобразований могли бы принести более привлекательные плоды. Исходя из опыта 14-ти государств, возглавляемых коммунистическими партиями, изучая также опыт стран третьего мира, в которых тоже были предприняты попытки построить социализм, следует искать *общую* закономерность.

Такой подход отвергнут теоретиками-марксистами. Он отвергнут, в частности, Эрнстом Манделем, без сомнения, самым выдающимся теоретиком современного троцкизма. Споря со мной в Свободном университете в Брюсселе, Мандель заявил, что "уклоны", которые наложили свою печать на ход совершившихся пролетарских революций, нельзя возводить в историческую закономерность, поскольку социализм начинали строить в отдельных странах, и революция еще не победила в масштабах всего мира. По Манделю, нельзя из накопленного опыта делать выводы, которые опровергали бы или даже корректировали предначертания Маркса и Ленина. И все потому, что троцкизм, разработав трудами Манделя собственную версию "структурных реформ", все еще продолжает стоять на страже Храма революции. Мандель признает, что во всех государствах, где установилась власть коммунистических партий, смысл революции был искажен, а вместо пролетарских государств получились "разложившиеся рабочие государства". Но и это не побуждает его усомниться, что наступит день, когда движение масс обновит развратившуюся Церковь, восстановит ее девственную чистоту.

В одном я все-таки с Манделем согласен: если вспомнить, как описывали развитое социалистическое общество основоположники марксизма, придется признать, что такого общества пока что никто не видел. И бессмысленно, конечно, предлагать

теорию социально-экономической формации, которой не существует. Но, с другой стороны, — и это тоже трудно опровергнуть, — какие-то новые общественные структуры все-таки появились. Старшая из них уже отпраздновала свое шестидесятилетие, а все вместе они охватили огромные территории земного шара, на которых живет более миллиарда человек. Назвать их можно по-разному: "переходными обществами", или "бюрократическими", "техно-бюрократическими", "государственно-социалистическими" и т.д. Но, как их ни называй, всякий должен признать, что, взятые вместе и сопоставленные, они представляют собой и теоретически, и исторически чрезвычайно важный объект для анализа. Уже их *повторяемость и долголетие* сотрясают до основания привычные схемы. Пора отказаться от бесконечных сопоставлений того, что получилось, с тем, что должно бы получиться. Пора посмотреть в глаза правде. Пора беспристрастно обдумать проблемы, которые неизменно появляются сразу, как только в какой угодно стране обобществляют средства производства.

Какие бы различия ни существовали изначально в тех странах, где проводился этот "эксперимент", между ними обнаруживается нечто общее. Казалось бы, национализация промышленности, банков, торговли и системы услуг должна устранить основное противоречие современных индустриальных обществ, когда производство становится все более коллективным и в изготовлении каждого изделия участвует все большее количество производителей, а львиная доля средств производства остается в руках меньшинства. Однако, как показывает опыт, национализация — это всего лишь юридическая мера. Она ликвидирует частных предпринимателей, но ничего не меняет ни в производственных отношениях, ни в разделении труда, ни в иерархии, которая складывается в процессе разделения труда. И после национализации сохраняются в качестве экономических единиц отдельные предприятия. Сохраняется их статус, сохраняется, следовательно, и взаимосвязь между ними. Это обстоятельство объясняет, почему и после национализации каждое *изделие*, когда оно передается от одного предприятия к другому, остается товаром. Можно, конечно, укрупнять предприятия (это делается и в капиталистических странах). При этом уменьшается их количество, но социально-экономическое качество остается неизмен-

ным. Можно произвольно навязывать предприятиям цены на их изделия, но и после этого они не перестанут быть товарами. Национализация, иначе говоря, не затрагивает экономических механизмов капитализма. Эти механизмы на деле выживают даже если ликвидировать капиталистов.

Национализация — не панацея

Именно поэтому теоретики социализма согласны теперь в том, что невозможно удовлетвориться одной только национализацией. Национализация — лишь исходный пункт. Но куда же двигаться дальше?

Путь, по которому пошел Советский Союз, а вслед за ним и все другие государства, в которых власть захватили коммунистические партии, хорошо известен. Общественная собственность объявляется собственностью всего общества или народной собственностью. На этом основании у предприятий отнимается право свободно решать вопросы о количестве или качестве собственных изделий. Считается, что они принадлежат обществу, а потому общество из единого центра направляет на предприятия соответствующие директивы. То, что предприятие сохранило прежнюю структуру, признается несущественным: директора назначаются, чтобы осуществлять директивы, решая локальные технические проблемы и наблюдая, чтобы приказы сверху выполнялись неукоснительно. Критерии оценки любой хозяйственной деятельности, которые в Советском Союзе предпочитают называть "показателями", предполагают лишь буквальное следование полученным сверху приказам.

Тут сами собою напрашиваются два вопроса:

1. Возможно ли руководить всеми предприятиями из одного центра?
2. И, если возможно, правомочно ли считать этот центр выразителем воли всего общества?

Накопленный опыт позволяет ответить, что централизованное управление хозяйством осуществимо, но при этом приходится расплачиваться непроизводительными растратами экономической энергии и неистребимым очковитательством со стороны директоров предприятий и ответственных работников на всех сту-

пенях управленческого аппарата. При этом могут быть даже достигнуты впечатляющие результаты, но лишь при наличии огромных трудовых резервов и при строительстве прежде не существовавшей тяжелой промышленности. Трудящихся просто "мобилизуют", полностью пренебрегая критериями рентабельности. В теории Маркса это называлось "экстенсивным развитием народного хозяйства". Но как только этот первоначальный этап завершен, а развитие не переходит в "интенсивное" — то есть, когда появляется необходимость повышать рентабельность наличных средств производства, как бы меняется ракурс, и все пороки централизованного руководства выступают наружу.

В Советском Союзе и в большинстве социалистических стран это случилось в конце 50-х — начале 60-х годов. Тогда-то и начался кризис плановой системы управления хозяйством, тогда-то и были сделаны попытки реформ. Преобладающая в капиталистических государствах форма собственности, как мы говорили, отстаёт от развития производительных сил, которые все больше обобществляются. В связи с этим в капиталистических государствах наблюдаются перемены в управлении как самыми крупными предприятиями, так и более мелкими. На смену "баронам промышленности" приходят технократы. Но такое обобществление не достигает уровня, при котором можно было бы обращаться с отдельными производственными единицами как с цехами одного огромного производственного предприятия, управляемыми из единого центра. Классическая частная собственность, конечно, не поспевает за историческим развитием, но национализация собственности тоже этого развития не опережает. Старое противоречие просто выворачивается наизнанку.

Это противоречие, как и многие другие, при социализме просто маскируется. Роль маски играет государство. *Единая общественная собственность отождествляется с единой государственной собственностью.* Могут, конечно, возразить, что государство при социализме — это тоже нечто качественно новое. Прежде оно защищало интересы буржуазии, а при социализме оно защищает интересы трудящихся. Так вначале и думали, но что же получилось на деле? Тут мы приходим ко второму из названных вопросов.

В социалистических государствах на этот вопрос отвечают

положительно. Там безусловно признают, что вновь образованный "центр" воплощает интересы общества как целого. Разве во главе государства не стоят компартии? Разве не провозглашают они пролетарскую доктрину? Разве сами коммунисты, которые осуществляют руководство, — не наемные рабочие? И все же они существенно отличаются от других наемных рабочих — и не только более высокой зарплатой и числом привилегий. Их отличие заключается в присвоенном ими праве суверенно распоряжаться прибавочной стоимостью, созданной трудом всех.

Труд рабочих и других трудящихся непрерывно создает прибавочную стоимость. По марксистской теории, это накапливающееся богатство идет в так называемый коллективный фонд, из которого оплачиваются социальные расходы, капиталовложения, военный бюджет и т.д. Поскольку никто из граждан не был бы из этого "коллективного фонда" не получает, казалось бы, и само употребление этого термина "прибыль", связанного с капиталистической эксплуатацией, тут совершенно неуместно. Действительность, однако, оказывается сложнее, поскольку даже при отсутствии индивидуального присвоения прибыли, распределение доходов в социалистических государствах далеко не равномерно. А это значит, что какая-то часть прибавочной стоимости перераспределяется, переходя от одних групп населения к другим. В отличие от капитализма, в социалистических странах такое перераспределение осуществляется не столько на уровне предприятий, сколько в общенародном или общегосударственном масштабе. В привилегированном положении оказываются не только функционеры партии, но и те, кто по благословению партии одаряются высокой зарплатой. Говоря теоретически, можно было бы добиться, чтобы неравенство зарплат соответствовало различиям в качестве и интенсивности затраченного труда. Но, во-первых, вряд ли можно точно измерить, имеет ли право, допустим, инженер той или иной квалификации на вознаграждение, которое в два, три или десять раз превышало бы зарплату неквалифицированного рабочего? Во-вторых, очевидно, что большая часть привилегий тех или иных социальных групп обуславливается политическими критериями или сложившимся в государстве соотношением сил.

Страх перед полицейскими репрессиями, как и неусыпный контроль над населением со стороны партии, препятствует рабо-

чему классу открыто выступить против установлений, которые созданы "его" государством от "его" имени. Но как только контроль и страх слабеют, вспыхивают забастовки и бунты, о чем свидетельствуют польские события и вспышки недовольства в Китае времен "культурной революции".

Государство оказывается *собственником* средств производства, но перепоручает управление ими определенной социальной группе. Тайное становится явным. Превратить общественную собственность в собственность всего общества оказалось невозможным. Общественной собственностью она становится через *посредство государства*. Она попадает в руки аппарата управления и подавления, который веками был орудием господствующих классов, а в новых условиях способствует формированию нового правящего слоя. Государственная буржуазия сложилась не только в СССР, но и в некоторых государствах третьего мира, где стал доминировать общественный сектор. И в этих странах, совершенно также, инструментом обобществления становится одна партия — пусть и не коммунистическая.

Из сказанного следует, что речь идет не о каком-то "специфическом" явлении, которое можно объяснить особыми национальными обстоятельствами, а о закономерности, которая проявляется повсюду, где социализация проводится путем централизации. И нет никаких оснований рассчитывать, что в той или иной форме то же явление не возникнет в итоге национализации промышленности в странах Запада.

Наглядный тому пример — Куба. После свержения Батисты там было несколько партий, а новое правительство даже не называло себя социалистическим. Но как только кубинцы по решению Фиделя Кастро и Че Гевары вступили на путь социализма и принялись его строить под знаменем централизации (в промышленности) и милитаризации (в сельском хозяйстве), судьба страны была решена. Кубинский эксперимент неизбежно должен был привести к созданию государства советского типа. Такого рода системы характеризуются противоречиями и кризисами. Однако новые правящие слои научились их подавлять. С одной стороны, они прибегают к репрессиям, а с другой стороны, идут на компромиссы и уступки, что на определенном этапе позволяет стимулировать темпы экономического развития.

Самой насущной для стран советского типа стала проблема технократии, технических кадров, которые возникают как следствие индустриализации. Чтобы привлечь их на свою сторону, коммунистические партии обеспечивают им потребление по капиталистической модели: квартиру, дачу, машины. Такая политика коммунистических партий успокаивает западных буржуа, и те начинают делать капиталовложения в социалистических государствах. Но та же потребительская политика коммунистических партий вносит замешательство в ряды сторонников социализма на Западе, которые начинают все более критически относиться к централизованным и авторитарным формам управления.

Но как избежать таких форм? Возможно ли построить социализм другим путем?

Сторонники социализма должны решить, возможны ли вообще, в принципе, другие, отличные от советского, формы социализма, возможны ли другие структуры коллективной собственности, которые отличались бы от государственной формы собственности? Сторонники социализма должны решить, насколько отдельные слои общества — рабочие, технические кадры, интеллигенция, мелкие частные собственники и крестьяне — способны противостоять бюрократии. Два социалистических государства попытались что-то сделать в этом направлении: Югославия, которая ввела систему самоуправления на предприятиях, и Китай, где были созданы народные коммуны. И в других государствах время от времени слышатся призывы к переориентации на строительство социализма "снизу", делаются попытки опереться на инициативу масс. Но и те, кто выступает с такими призывами, не желает отказаться от власти. Они продолжают контролировать инициативу, они директивно навязывают даже реформы, не позволяя критикам и оппонентам выходить за строго определенные границы.

Сформированное сталинизмом мышление нынешних руководителей социалистических государств не мирится с возможностью столкновения различных политических программ. Для них существует лишь одна "генеральная линия", а все остальное — "уклоны".